

Роман «По ком звонит колокол» в ту весну только что вышел. Вновь вспомнили об Испании. Впервые открыто заговорили об участии СССР в гражданской войне там. Пребывавшие в тени герои, которые были обречены на забвение, начали выходить на свет.

Нас учили забывать, вырывать из памяти, будто она записная книжка, откуда легко вырвать страницы, события и имена. Со школьных лет мы привыкали к этому. Учебников не хватало. Они переходили из рук в руки. Вместо портретов там зияли чернильные пятна. И когда нам велели замазывать другие портреты, это было вроде занятой игры: кто лучше сделает из портрета того, кого вчера еще ставили в пример, такое пятно, чтобы и черточки не осталось? Был — и нет.

И вдруг на собрании летчиков я слышу о загадочном генерале Дугласе. Кто же этот таинственный Дуглас? Из расспросов узнаю — под этим именем воевал Яков Владимирович Смушкевич. В небе над Мадридом он завоевал первую золотую звезду героя. Вторую звезду он получил за Халхин-Гол и стал одним из первых дважды героев. От проводившего Халхин-Гольскую операцию Жукова я получил письмо, в котором маршал дал высокую оценку командному мастерству Смушкевича. Когда немцы стояли под Москвой, к нему шли письма: где вы, почему вас нет с нами? Спрашивали летчики.

В лагерях моя мама видела его жену и дочь.

В книгах об испанской войне о нем ни строчки. Но Эренбург, знаменитый Эренбург, кто сам был в Испании, столько писал о той войне, он-то уж знает!

Жил он в недавно выстроенном доме для знаменитостей, большом светло-сером здании у памятника Юрию Долгорукому.

По дороге я вспоминал его книги. «Хулио Хуренито», казавшийся мне представлением вроде итальянского дель арте. Калейдоскоп наряженных в костюмы Арлекина, Панталоне, Коломбины и кого там еще, Тартальи, Бригеллы. Идеи, раскрашенные в фигуры, вырезанные из картона. «Падение Парижа», «Буря». Там увлекало не столько действие, сколько декорации, в которых оно разворачивалось. Париж, его улицы, площади. Чарующий, далекий, закрытый мир. А вот из стихов его мне крепко запала в память одна строчка: «Жажда остается».

Это как раз очень подходило к тому времени. Шел 1965 год. Дуло хотя и не таким теплым, как в то время, когда родилась его знаменитая «Оттепель», но не таким уж морозным ветром, какой вскоре подует. И жажда, разбуженная оттепелью, не проходила. Мы хотели знать, кого же считать героями, кто реален, а кто просто вырезан из картона и разукрашен в подходящие в то время цвета? С кого время смывает краски и на ком они останутся? Куда отнести Дугласа, чей затертый портрет вдруг ожил предо мной?

Что расскажет о нем Эренбург?

Дверь мне открыл сам хозяин. Почему-то я представлял его, хотя никогда прежде не видел, выше и крепче. Вежливая улыбка, вялое рукопожатие, трубка в руках, пордевшая прядь темных с проседью растрепанных волос, плотной рубчатой шерсти костюм, запомнившийся своим цветом — всюду только черные да серые, а тут темно-бордовый. Он начинает говорить, и я замечаю, что у него не хватает впереди зуба. От этого он немного шепелявит.

Вхожу — край глаза схватывает слева просторную, хорошо обставленную гостиную. Мы поворачиваем по коридорчику направо в небольшую комнату, видимо служащую ему местом отдыха. Полка с книгами, напротив пестрый ковер на стене, кушетка. Мы садимся к столу у окна.

Внизу старый московский двор — поле наших мальчишеских сражений, знаменитая «Бахрушинка». В соседнем сквере весна уже раскрасила деревья веселой нежной зеленью. Скоро зашуршат, как бубенцами, свежими листочками деревья и скроют мрачную темно-серую громаду института марксизма-ленинизма, чьи окна смотрели на хвост коня Долгорукого. Дальше, рядом с моим домом на Петровке, 26, в Петровских линиях тридцать с лишним лет назад было кафе «Трилистник», открытое племянником писателя, решившего попытать счастья на ниве дяди-предпринимателя, владельца харьковского цирка.

Через много лет я опишу это кафе в романе «Ни войны, ни мира».

— Если Дуглас так воевал... За что же его арестовали? — спрашиваю я, тогда еще задававший наивные вопросы тому, кто для меня был воплощением умудренности жизнью.

— А кто знает, за что тогда арестовывали? — отвечает мне умудренность.

Я озадачен, пытаюсь прояснить, узнать больше о человеке, ведь предо мной инженер человеческих душ. Неужели, кроме скупого упоминания имени Дугласа в мемуарах «Люди, годы, жизнь», его память не сохранила ни одной из столь важных для писателя человеческих черточек? Знаком же был он и с его семьей и, как сам только что сказал, видел его в Большом театре, куда Дуглас пришел на костылях. Невозможно было поверить, чтобы такой прославленный журналист не поинтересовался, что с легендарным героем произошло, чтоб не разузнал, когда Дуглас вышел из госпиталя, в который попал после катастрофы, испытывая новую модель истребителя? Потрясающий же факт! Командующий авиацией сам испытывает самолеты. находка для журналиста.

Не хочет говорить, опасается? Почему?

— Сходите к Ксанти, — наконец советует мне Эренбург. — Они с Дугласом в Испании были друзьями.

Дальше узнаю, что герой романа Хемингуэя «По ком звонит колокол» во многом похож на Ксанти.

Достать роман было непросто. Мне повезло. Редакции, где готовили мою книгу, выделили какое-то число четырехтомников Хемингуэя, и один из них достался мне.

Эпиграфом к нему были такие строчки: «Не спрашивай, по ком звонит колокол».

В ту весну колокола в Москве молчали. Когда-то бывшие голосом города, они давно смолкли. С этим свыклись. Приговоренные исчезнуть уходили в полном безмолвии. По ним колокол не пробил. Теперь молчание рушилось.

Под именем Ксанти в Испании знали Хаджи Джиоровича Мамсурова, ныне генерал-полковника, заместителя начальника военной разведки. Шел слух, что он возглавлял и личную, глубоко засекреченную разведку Сталина.

Разыскиваю его телефон. Называю себя. Мое имя ему известно. Шла двадцатая весна Победы, и мои радиопередачи об этом на «Маяке» слушали все.

У памятника Гоголю ко мне подошел молодежаво выглядевший, несмотря на свои шестьдесят четыре года, генерал в серо-голубой шинели. На висках под фураж-

кой серебрятся ниточки седины. Крепкое рукопожатие сильной руки, приветливо улыбающийся, но в то же время ошупывающий взгляд карих глаз.

Только что торопливо пробежал дождь. Легкий ветерок морщит лужи, тербит едва пробившуюся листву на ветвях, ласточки копошатся на карнизах, мы кружим по мокрой вязи арбатских переулков. Тот, чьими чертами наделен герой повести «По ком звонит колокол», рассказывает об Испании. На попадающихся по пути церквях колокольни зияют провалами. Они молчат. Их голоса в Москве давно смолкли. А я все жду рассказа о Дугласе. Друзьями же были. Но слышу только общие слова. Ни одного эпизода, ни одной подробности! А ведь наверняка знает, что с имени Дугласа запрет снят. Иначе бы со мной и не встретился. Но, может, он приложил руку к исчезновению Дугласа, ведь и арестованный им Павлов был для него в Испании камрадом Пабло?

Наконец, я понимаю: сказать правду для него — значит, осудить то, чему он служил так долго верой и правдой.

Я не берусь по тем встречам, которые у меня были с Мамсуровым, судить, каков он человек. Мне он представлялся таким. Дугласу и генералу Павлову, которого он арестовывал на фронте по личному приказу Сталина, — он виделся другим. И сам факт, что он был личным доверенным Сталина в такой критический момент, говорит о многом. И не все в его пользу.

Хемингуэй, имевший возможность изучить Ксанти лучше, наделил его чертами героя «По ком звонит колокол». Писатель всегда ищет в человеке, которого он избрал прототипом своего героя, то, что ему нужно найти.

В той гражданской войне писатели предпочитали находить героев только на одной стороне. Комендант Толедского Алька́сара, полковник Москардо, пожертвовавший жизнью взятого республиканцами в заложники шестнадцатилетнего сына, но не нарушивший присяги, героем для них не стал.

С Дугласом и Мамсуровым комендант Алька́сара были по разные линии фронта. Но Дуглас встретил смерть от той же пули, что была нацелена и на Алька́сар. По нему не звонил колокол. Звон заменил щелчок прекратившего его жизнь выстрела не врага, а своего.

И кто знает, быть может, в те же самые минуты герои Хемингуэя ведут бой, чтобы создать у себя на родине такую же жизнь, как была в СССР. Она уже существовала два десятилетия, и всем, кто хотел видеть, было понятно, каков он, этот образец нового будущего, за которое воевали республиканцы в Испании.

Трагедия (другие назовут это иначе) в том, что в то самое время, когда республиканцы воевали с франкистами, их, только под другим именем, расстреливали в стране мечты, стране, в которой они видели будущее своей родины.

Что же такое геройство? Мужество и храбрость как таковые, или важно, какому делу отдается мужество и геройство, что защищает, за что воюет герой?

Какова же была их ценность в стране, если там ничего не стоило уничтожить даже столь преданно служивших ей людей?

По ком же звонить колоколу? По тем, кого считали героями, или по тем, кого героями не считали, но кого героями сочла история?

Что бы сказали об этом Хемингуэй, Эренбург и Ксанти? Тяжело раненного Хемингуэя спасли и вернули к жизни. Убитых вернуть к жизни может лишь память, если сочтет достойными их имена.

А звон колокола летит и летит над землей. Он звонит и для тебя, зовет помнить: ты человек, судьба другого человека тебе не может быть чуждой. Ты не остров, ты часть материка по имени «человечество».

